

**БЕСЕДА СОТРУДНИКОВ ЖУРНАЛА "ШПИГЕЛЬ"
Р. АУПШТАЙНА и Г.ВОЛЬФА
С МАТИНОМ ХАЙДЕГГЕРОМ 23 СЕНТЯБРЯ 1966 Г.**

"Только Бог может еще нас спасти".

"Nur noch ein Gott kann uns retten". Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger am 23. September 1966 // Der Spiegel. 30. Jg. N 23. 31. Mai 1976. S. 193, 196, 198-199, 201, 204, 206, 209, 212, 214. 217, 219.

Шпигель: Господин профессор Хайдеггер, мы систематически замечаем, что на Вашу философскую деятельность падает некоторая тень от определенных, не очень долго продолжавшихся обстоятельств Вашей жизни, которые так и остаются непроясненными.

Хайдеггер: Вы имеете в виду тридцать третий год?

Шпигель: Да, вокруг этого года. Мы хотели бы поставить это в более широкий контекст и перейти отсюда к некоторым вопросам, которые представляются существенными, — скажем, какие возможности имеются у философии воздействовать на действительность, в том числе на политическую действительность?

Хайдеггер: Это, конечно, важные вопросы, смогу ли я на все ответить? Но сначала я должен сказать то, что до моего ректорства я не занимался никакой политической деятельностью. В зимний семестр 1932/33 я был в отпуске и по большей части жил в горах в своем домике.

Шпигель: Как же тогда получилось, что Вы стали ректором Фрейбургского университета?

Хайдеггер: В декабре 1932 года мой сосед фон Мёллендорф, ординарный профессор анатомии, был избран ректором. Вступление нового ректора в должность в этом университете происходит апреля. За зимний семестр 1932/33 мы часто говорили о тогдашнем положении — не только о политическом, но главное, о положении университетов, о бесперспективном, в определенном смысле, положении учащихся. Мое мнение было таким: насколько я могу судить о происходящем, есть только одна возможность — с теми активными силами, которые действительно еще живы, попытаться предупредить развитие событий.

Шпигель: Вы, таким образом, усматривали связь между положением немецкого университета и политической ситуацией в Германии вообще?

Хайдеггер: Конечно, я следил за политическими событиями между январем и мартом 1933 года и при случае также беседовал об этом с младшими коллегами. Но я был занят работой над более широкой интерпретацией мышления досократиков. В начале летнего семестра я возвратился во Фрейбург. Тем временем профессор фон Мёллендорф вступил 16 апреля в исполнение обязанностей ректора. Не прошло двух недель, как он был отстранен от своей должности тогдашним баденским министром культуры. Причиной такого решения министра было, по-видимому, то обстоятельство, что ректор запретил вывесить в университете так называемый "еврейский плакат".

Шпигель: Фон Мёллендорф был социалистом-демократом. Что он сделал после своего снятия?

Хайдеггер: Еще в день своего снятия фон Мёллендорф пришел ко мне и сказал: "Хайдеггер, теперь Вы должны принять обязанности ректора".

Я возразил на это, что у меня нет никакого опыта административной работы. Однако тогдашний проректор Заузр (теология) тоже настаивал, чтобы я выставил свою кандидатуру на выборах нового ректора, потому что была опасность, что иначе ректором будет назначен партийный деятель. Младшие коллеги, с которыми в течение многих лет обсуждал вопросы университетской жизни, осаждали меня, уговаривая принять ректорство. Я долго колебался. Наконец, я выразил готовность принять эту должность исключительно в интересах университета, при условии, что я смогу быть уверен в единодушной поддержке пленума. У меня, однако, оставались сомнения в моей пригодности быть ректором, и еще утром того дня, на какой были назначены выборы, я пришел в ректорат и объявил находившемуся там освобожденному от своей должности коллеге фон Мёллендорфу и проректору Зауэру, что не могу принять на себя должность. На это оба коллеги ответили мне, что подготовка к выборам зашла так далеко, что я уже не могу снять свою кандидатуру.

Шпигель: После этого Вы дали окончательное согласие. А как сложились Ваши отношения с национал-социалистами потом?

Хайдеггер: На второй день после моего вступления в должность в ректорат явился "штудентенфюрер" с двумя помощниками и снова потребовал вывесить "еврейский плакат". Я отклонил требование. Уходя, эти три студента заявили, что о моем запрещении будет доложено имперскому руководству студенчеством. Через несколько дней был телефонный звонок из отдела высших учебных заведений главного командования штурмовых отрядов от группенфюрера д-ра Бауманна. Он потребовал вывесить указанный плакат, как это уже было сделано в других университетах. В случае неповиновения мне грозит снятие с должности и даже, может быть, закрытие университета. Я попробовал заручиться поддержкой баденского министра культуры. Но он заявил, что ничего не может сделать против штурмовиков (БА). Тем не менее я своего запрета не отменил.

Шпигель: До сих пор все это не было известно в таком виде.

Хайдеггер: Мотив, который вообще побудил меня принять должность ректора, был указан еще в моей фрейбургской вступительной лекции 1929 года "Что такое метафизика?": "Области наук крайне разобщены. Способы трактовки предмета в корне различны. Это расплывающееся многообразие дисциплин сдерживается теперь лишь технической организацией университетов и факультетов и практической направленностью отдельных профессий. Напротив, укорененность наук в их сущностном основании отмерла". То, что за время пребывания в должности я пытался сделать по части такого положения университетов, — кстати сказать, развившегося теперь до крайности, изложено в моей ректорской речи.

Шпигель: Попытаемся выяснить, согласуется ли, и насколько, это высказывание 1929 года с тем, что Вы говорили в 1933 году в речи при вступлении на должность ректора. Мы выхватим из общего контекста одну фразу: «Прославленная "академическая свобода" изгоняется из немецких университетов, эта свобода была неподлинной, потому что чисто негативной»*, Берем на себя смелость предположить, что эта фраза выражает по крайней мере часть воззрений, к которым Вы еще и теперь близки.

Хайдеггер: Да, я и сейчас стою на этом. Потому что эта академическая "свобода" слишком часто была лишь негативной свободой от стараний

углубиться в то раздумье и осмысление, которых требуют занятия наукой. Впрочем, выделенную Вами фразу надо читать не отдельно, а в ее контексте, тогда станет ясно, что я подразумевал под "негативной свободой".

Шпигель: Ну, это понятно. Однако нам кажется, что в Вашей ректорской речи можно уловить новые нотки, когда, спустя четыре месяца после провозглашения Гитлера рейхсканцлером, Вы говорите, например, о "величии и великолепии этого сдвига".

Хайдеггер: Да, я и в этом был тогда убежден.

Шпигель: Можете ли Вы это еще немного пояснить?

Хайдеггер: Охотно. Я не видел тогда никакой другой альтернативы. При всеобщем разброде мнений и политических тенденций 22-х партий надо было искать какую-то национальную и, главное, социальную установку, хотя бы в духе попытки Фридриха Науманна. В качестве всего лишь одного примера я мог бы процитировать статью Эдуарда Шпрангера, которая идет много дальше того, что я сказал в своей ректорской речи*.

Шпигель: Когда Вы начали интересоваться политическими вопросами? Ведь 22 партии были уже давно. А безработных были миллионы еще в 1930 году.

Хайдеггер: В то время я был еще целиком поглощен вопросами, развитыми в книге "Бытие и время" (1927) и в работах и докладах последующих лет, основными вопросами мышления, опосредствованно имевшими отношение и к национальным и социальным вопросам. Непосредственно передо мной как преподавателем университета стоял вопрос о смысле наук и тем самым об определении задачи университета. Эта озабоченность выражена в заглавии моей ректорской речи: "Самоутверждение немецкого университета". Никакой другой ректор того времени не отважился произнести речь под таким заглавием. Но кто из нападавших на мою речь основательно ее прочел, продумал и истолковал, исходя из тогдашней ситуации?

Шпигель: "Самоутверждение университета" среди столь бурного мира — не кажется ли это немного неуместным?

Хайдеггер: Как так? "Самоутверждение университета" — это прямо против так называемой "политической науки", которую уже тогда требовала партия и национал-социалистическое студенчество. Термин "политическая наука" имел тогда совсем другой смысл: он означал не политологию, как теперь, но содержал следующее утверждение: наука как таковая, ее смысл и ценность определяются ее фактической пользой для народа. Оппозиция этой политизации науки и выражена в моей ректорской речи.

Шпигель: Правильно ли мы Вас понимаем, увлекая университет в то, что Вы тогда воспринимали как сдвиг (Aufbruch), Вы в то же время хотели отстоять университет против, возможно, неодолимо мощных тенденций, которые уже не оставили бы университету никакой самобытности?

Хайдеггер: Конечно, но самоутверждение должно было также поставить задачу — наряду с чисто технической организацией дать университету новый смысл на основе осознания наследия западноевропейского мышления.

Шпигель: Господин профессор, надо ли понимать это так, что Вы тогда надеялись, что можно достичь оздоровления университета вместе с национал-социалистами?

*Эта статья появилась в 1933 г. в журнале "Воспитание" (С. 401).

Хайдагер: Неправильная формулировка. Не вместе с национал-социалистами, а университет должен был обновиться через самоосмысление и тем самым занять твердую позицию перед опасностью политизации науки - в указанном выше смысле.

Шпигель: И поэтому Вы в Вашей ректорской речи провозгласили эти три столпа: "служба труда", "служба обороны", "служба знания". Вы имели в виду, стало быть, что "служба знания" должна быть возведена в равное положение в другими, на что национал-социалисты не пошли?

Хайдагер: О "столпах" здесь речи не было. Прочтите внимательно: хотя "служба знания" стоит в перечислении на третьем месте, по смыслу она поставлена на первое. Нужно понять, что труд и оборона, как всякая человеческая деятельность, опираются на какое-то знание и проясняются в его свете.

Шпигель: Мы должны, однако, — сейчас мы покончим с этим жалким цитированием — упомянуть здесь еще одну фразу, относительно которой невозможно представить, чтобы Вы под ней сегодня подписались. Осенью 1933 года Вы сказали: "Не правила из учебников и идеи управляют Вашим бытием. Фюрер — сам и только он — есть сегодняшняя и будущая немецкая действительность и ее закон".

Хайдеггер: Эти фразы стоят не в ректорской речи, а лишь в местной фрейбургской студенческой газете по случаю начала зимнего семестра 1933/34. Когда я принял обязанности ректора, я ясно понимал, что без компромиссов мне не обойтись. Да, приведенную Вами фразу я уже не написал бы сегодня. Уже в 1934 году я не говорил больше ничего подобного.

Шпигель: Вы разрешите нам задать еще один промежуточный вопрос? Ваша позиция в 1933 году определялась двумя полюсами. Первый: многое Вы были вынуждены говорить *ad usum Debphini*. Это был один полюс. Однако другой полюс все же содержал в себе нечто более позитивное; Вы об этом говорите: у меня было ощущение, что здесь есть нечто новое, что здесь — сдвиг.

Хайдеггер: Да, это верно. Было не так, что я говорил только для вида, я как раз видел эту возможность.

Шпигель: Вы знаете, что в этой связи против Вас выдвигаются обвинения, касающиеся Вашего сотрудничества с национал-социалистической партией (NSDAP) и ее организациями, которые в общественном мнении до сих пор считаются непровергнутыми. Так, Вас упрекают, что Вы принимали участие в сожжении книг студентами или членами гитлер-югенда.

Хайдеггер: Я запретил намечавшееся сожжение книг, которое должно было состояться перед зданием университета.

Шпигель: Вас еще упрекают в том, что Вы разрешили убрать из библиотеки университета или философского семинара книги еврейских авторов.

Хайдеггер: В качестве руководителя семинара я мог распоряжаться только этой библиотекой. Я не уступил многократным требованиям удалить из нее книги еврейских авторов. Бывшие участники моих семинарских занятий могли бы сегодня подтвердить, что не только никакие книги еврейских авторов не были удалены, но что эти авторы, в первую очередь Гуссерль, цитировались и обсуждались, как до 1933 года.

Шпигель: Как Вы объясните происхождение таких слухов? Это злоба?

Хайдеггер: Насколько я догадываюсь об источниках слухов, можно считать так; но движущие мотивы этой клеветы лежат глубже. Принятие

мною должности ректора было, видимо, лишь поводом, а не определяющей причиной. Надо полагать, что нападки поэтому будут постоянно вспыхивать, как только представится повод.

Шпигель: У Вас и после 1933 года были еврейские студенты. Кажется, Ваше отношение к некоторым из этих еврейских студентов было сердечным.

Хайдеггер: Моя позиция после 1933 года оставалась неизменной. Одна из моих ранних и одареннейших учениц, Хелена Вайс, позднее эмигрировавшая в Шотландию, защитила диссертацию в Базеле, когда эта защита стала невозможной на нашем факультете. Ее работа называлась "Причинность и случай в философии Аристотеля"; она была опубликована в 1942 году в Базеле. В конце предисловия к этой работе она пишет: "Предлагаемая в первой части попытка феноменологической интерпретации стала возможной благодаря знакомству с неопубликованными интерпретациями М. Хайдеггера греческой философии". Здесь Вы видите экземпляр этой работы с собственноручным посвящением автора. Я неоднократно посещал г-жу д-ра Вайс в Брюсселе, где она жила до своей смерти.

Шпигель: Долгое время Вы дружили с Ясперсом. После 1933 года эти отношения начали омрачаться. Ходил слух, что омрачение связано с тем обстоятельством, что у Ясперса жена была еврейка. Хотели бы Вы что-нибудь на это сказать?

Хайдеггер: Я был дружен с Карлом Ясперсом с 1919 года; в летний семестр 1933 года я посетил его и его жену в Гейдельберге. Карл Ясперс посылал мне все, что было им издано между 1934 и 1938 годами, - "с сердечным приветом".

Шпигель: Вы были учеником Вашего предшественника по кафедре философии Фрейбургского университета, еврея Эдмунда Гуссерля. Он рекомендовал Вас факультету в качестве преемника. Вы, конечно, относились к нему не без благодарности.

Хайдеггер: Вы же знаете посвящение "Бытия и времени"*.

Шпигель: Разумеется. Но вот позднее Ваши отношения изменились. Можете ли и хотите ли Вы нам сказать, чем было вызвано охлаждение?

Хайдеггер: Обострились расхождения в философских вопросах. В начале 30-х годов Гуссерль публично разделался с Максом Шелером и со мной с ясностью, не оставляющей желать ничего большего. Что побудило Гуссерля выступить столь публично с нападками на мое философствование, я не мог понять.

Шпигель: При каких обстоятельствах это произошло?

Хайдеггер: В Берлинском Дворце спорта, где Гуссерль говорил перед студентами. Об этом был отчет Эриха Мюзама в одной из больших берлинских газет.

Шпигель: Спор как таковой нам в данном случае неважен. Важно лишь, что это не был спор, как-то связанный с 1933 годом.

Хайдеггер: Нисколько.

Шпигель: Вас упрекали в том, что в 1941 году, при выпуске пятого издания "Бытия и времени", Вы сняли первоначальное посвящение Гуссерлю.

Хайдеггер: Это верно. Я разъяснил это обстоятельство в моей книге

*Книга М. Хайдеггера "Бытие и время", впервые изданная в 1926 г., имела посвящение: "Посвящается Эдмунду Гуссерлю - в знак почтения и дружбы".

"На пути к языку". Там я писал: «В порядке ответа на широко распространенные ложные утверждения необходимо подчеркнуть здесь, что упоминаемое в тексте диалога на странице 92 посвящение книги "Бытие и время" было сохранено также и в четвертом издании книги, вышедшем в 1935 году. Когда издательство, печатавшее пятое издание книги в 1941 году, оказалось под угрозой запрета этой публикации, то предположению и желанию Нимейера* в конце концов было решено снять посвящение — однако при поставленном мною условии, что останется примечание на странице 38-й, собственно и являвшееся обоснованием посвящения и гласившее: "Если ниже следующее исследование делает какие-то шаги вперед в деле раскрытия "самих вещей" (die Sachen selbst), то этим автор в первую очередь обязан Э. Гуссерлю, который в годы обучения автора во Фрейбурге внимательным личным руководством и самым щедрым предоставлением своих неопубликованных разысканий дал ему возможность познакомиться с разнообразнейшими областями феноменологических исследований"».

Шпигель: Тогда, вероятно, нечего и спрашивать, верно ли, что, будучи ректором Фрейбургского университета, Вы запретили почетному профессору этого же университета Гуссерлю посещение или пользование университетской библиотекой или библиотекой философского семинара.

Хайдеггер: Это клевета.

Шпигель: И не существует никакого письма, в котором выражен этот запрет в отношении Гуссерля? Как же возник такой слух?

Хайдеггер: Я тоже не знаю и не нахожу здесь никакого объяснения. Невозможность всего этого дела я могу Вам доказать на фактах, которые тоже не известны: в период моего ректорства директором медицинской клиники при университете был профессор Таннхаузер, а профессором физической химии — будущий нобелевский лауреат фон Хевеши, оба евреи; министерство требовало их увольнения, но мне удалось их оставить в результате личного ходатайства перед министром. Что я держал их обоих и одновременно столь беспардонным образом вел себя по отношению к Гуссерлю, почетному профессору и моему собственному учителю, — это просто абсурдно. Я также помешал проведению демонстрации студентов и преподавателей против профессора Таннхаузера. Тогда имелись засидевшиеся приват-доценты, которые думали: вот теперь настало время, чтобы продвигнуться. Всех этих людей, которые обращались ко мне с подобными представлениями, я выставлял.

Шпигель: Вы не были на похоронах Гуссерля в 1938 г.?

Хайдеггер: Я хотел бы сказать здесь вот что: обвинение, что я порвал отношения с Гуссерлем, ни на чем не основано. Моя жена от имени нас обоих написала в мае 1933 года письмо госпоже Гуссерль, в котором мы выражали нашу неизменную благодарность, и послала это письмо вместе с букетом цветов Гуссерлям. Госпожа Гуссерль ответила короткой запиской, в которой выражала формальную благодарность и сообщала, что отношения между нашими семьями прекращаются. То, что я еще раз не выразил свою благодарность и почитание во время болезни и на похоронах Гуссерля, было проявление человеческой слабости (menschliches Versagen), за которую я просил госпожу Гуссерль в письме к ней простить меня.

*Руководитель издательства, публиковавшего в то время книги Хайдеггера;

Шпигель: Гуссерль умер в 1938 году. Уже в 1934 году Вы отказались от ректорства. Как дело дошло до этого?

Хайдеггер: Тут я должен немного распространиться. В стремлении преодолеть техническую организацию университета, то есть обновить факультеты изнутри исходя из их предметных задач я предложил назначить на зимний семестр 1933/34 деканами некоторых факультетов более молодых и прежде всего проявивших себя в своей области коллег, притом незасимо от их отношения к партии. Так, деканом юридического факультета стал профессор Эрик Вольф, философского факультета — профессор Шедевальдт, факультета естественных наук — профессор Зергель, медицинского факультета — профессор фон Мёллендорф, который весной был снят с должности ректора. Однако уже к Рождеству 1933 года мне стало ясно, что манившие меня обновление университета я не смогу провести ни против сопротивления в среде коллег, ни против партии. Например, мои коллеги были недовольны, что я привлекаю студентов к ответственным обязанностям по управлению университетом — точно так, как это делается теперь. Однажды я был вызван в Карлсруэ, где министр через посредство министерского советника — в присутствии окружного студентенфюрера — потребовал от меня заменить деканов юридического и медицинского факультетов другими лицами, угодными партии. Я отклонил эти инсинуации и заявил, что подам в отставку, если министр будет на них настаивать. Так и случилось. Это произошло в феврале 1934 года, я ушел после десятимесячного ректорства, в то время как ректоры тогда оставались на посту по два года и более. Тогда как принятие мною должности ректора отечественная и иностранная пресса самыми разными способами комментировала, об обстоятельствах моей отставки все молчали.

Шпигель: Была ли у Вас тогда возможность изложить свои мысли об университетской реформе имперскому министру?

Хайдеггер: Когда "тогда"?

Шпигель: Речь идет еще о поездке, которую Руст предпринял в 1933 году сюда, во Фрейбург.

Хайдеггер: Здесь имеются в виду две различные вещи. По случаю празднеств в честь Шлягетера в Шенау имел место мое краткое приветствие министру. Во-вторых, я говорил с министром в ноябре 1933 года в Берлине. Я доложил ему свою точку зрения на науку и на возможную перестройку факультетов. Он все внимательно выслушал и принял к сведению, так что я тешил себя надеждой, что доклад может возыметь действие. Однако ничего не произошло. Я не понимаю, почему эта беседа с тогдашним министром просвещения вменяется мне в вину, когда в это же время все иностранные правительства спешили признать Гитлера и оказать ему почести, принятые в международных отношениях.

Шпигель: Изменилось ли Ваше отношение к национал-социалистической партии после того, как Вы перестали быть ректором?

Хайдеггер: После ухода с поста ректора я ограничил себя преподавательскими обязанностями. В летний семестр 1934 года я читал "Логику". В последующий семестр 1934/35 г. я прочел первый цикл лекций о Гёльдерлине. В 1936 году пошли лекции о Ницше. Все, кто мог слышать, слышали, что эта была полемика с национал-социализмом.

Шпигель: Как состоялась передача должности новому ректору? Вы ведь не принимали участия в этой церемонии?

Хайдеггер: Да, я отказался участвовать в торжественной передаче ректорства.

Шпигель: Ваш преемник был активный член партии?

Хайдеггер: Он был юрист; партийная газета "Алеманн" сообщила о его назначении заголовком через всю страницу: "Первый национал-социалистический ректор университета".

Шпигель: Как относилась к Вам партия в дальнейшем?

Хайдеггер: Я находился под непрерывным наблюдением.

Шпигель: Вы это замечали?

Хайдеггер: Да, — случай с д-ром Ханке.

Шпигель: Как Вы об этом узнали?

Хайдеггер: Потому что он сам ко мне пришел. Он уже защитил диссертацию, в зимний семестр 1936—37 г., а в летний семестр 1937 года был участником моего семинара. Он был послан службой безопасности следить за мной.

Шпигель: Как получилось, что он вдруг пришел к Вам?

Хайдеггер: Под влиянием моего семинара по Ницше в летний семестр 1937 года и характера работы в этом семинаре он признался мне, что не может больше продолжать порученное ему наблюдение за мной и в интересах моей дальнейшей преподавательской деятельности хочет информировать меня о положении дел.

Шпигель: Значит, недреманное око партии следило за Вами?

Хайдеггер: Я знал только, что мои работы нельзя было обсуждать, например статью "Учение Плантона об истине". Мой доклад о Гёльдерлине, прочитанный в институте Германии в Риме в начале 1936 года, был грубо раскритикован в журнале гитлер-югенда "Воля и мощь". Интересующимся надо бы прочитать полемику, которую начал против меня летом 1934 года журнал Э. Крикса "Народ в становлении". Я не попал в состав немецкой делегации на Международный философский конгресс в Праге в 1934 году. Точно так же я был устранен от участия в Международном декартовском конгрессе в Париже в 1937 году. Известие об этом вызвало в Париже такое недоумение, что тамошний организатор конгресса — профессор Сорбонны Брейе — сам обратился ко мне с запросом, почему я не вхожу в немецкую делегацию? Я ответил, что рекомендую руководству конгресса осведомиться по этому вопросу в имперском министерстве просвещения. Через некоторое время из Берлина мне пришло указание задним числом присоединиться к делегации. Я ответил отказом. Мои доклады "Что такое метафизика?" и "О сущности истины" продавались без титульного листа из-под прилавка. Моя ректорская речь была сразу же после 1934 года по указанию партии изъята из продажи.

Шпигель: Стало ли потом хуже?

Хайдеггер: В последний год войны 500 самых выдающихся ученых и деятелей искусств были освобождены от несения любого вида воинской повинности. Я не принадлежал к освобожденным; наоборот, летом 1944 года я 6БШ направлен на работы по рытью окопов вдоль Рейна.

Шпигель: А на другой, на швейцарской стороне, окопы рыл Карл Барт.

Хайдеггер: Интересно, как это все происходило. Ректор пригласил к себе весь преподавательский состав. Он произнес короткую речь следующего содержания: то, что он сейчас скажет, есть результат договоренности с ок-

ружным и районным партийным руководством; он разделит сейчас всех преподавателей на три группы. Первая — те, без которых вполне можно обойтись, вторая — частично незаменимые, третья — совершенно незаменимые. Первыми в списке тех, без которых вполне можно обойтись, стояли: Хайдеггер, потом Г. Риттер*. В начале зимнего семестра 1944/45. после окончания окопных работ на Рейне, я читал лекцию под заглавием "Поэзия и мышление", которая в известной степени была продолжением моих лекций о Ницше, то есть полемики с национал-социализмом. По окончании второго часа меня мобилизовали в фольксштурм, причем по возрасту я был старшим среди призванных лиц преподавательского состава.

Шпигель: Кажется, теперь мы можем все подытожить: в 1933 году, будучи человеком аполитичным — в узком, не в широком смысле, — Вы оказались втянутыми в политику этого мнимого "сдвига".

Хайдеггер: ... через университет...

Шпигель: ... через университет — в этот мнимый "сдвиг". Взятые на себя при этом обязанности Вы сложили примерно через год. Однако: в 1935 году, в лекции, которая была опубликована в 1953 году под заглавием "Введение в метафизику", Вы сказали следующее: "То, что сегодня — повторяем, это было в 1935 году — преподносится в качестве философии национал-социализма, но не имеет ничего общего с внутренней истинностью и величием этого движения (а именно со встречей планетарной техники и современного человека), позволяет ловить рыбу в мутных водах ценностей и цельностей". Слова в скобках вы включили в текст лишь в 1953 году, т.е. при опубликовании лекции — скажем, чтобы разъяснить читателю 1953 года, в чем именно Вы усматривали "внутреннюю истинность и величие этого движения", то есть национал-социализма, или же эти пояснительные скобки существовали уже в 1935 году?

Хайдеггер: Так стояло в моей рукописи, и это точно соответствовало моему тогдашнему представлению о технике, но еще не позднейшей интерпретации сущности техники как по-става (Se-Ste11). То, что это место не было мною прочитано, объясняется тем, что я был уверен в понятливости моих слушателей: глупые провокаторы и шпики понимали это место по-другому — но они и хотели этого.

Шпигель: Вы, конечно, включили бы сюда и коммунистическое движение?

Хайдеггер: Да, обязательно, поскольку оно определяется планетарной техникой.

Шпигель: И также американизм?

Хайдеггер: Да, я сказал бы и это. Между прочим, за прошедшие тридцать лет должно было бы стать яснее, что планетарное движение техники нового времени есть сила, определяющее значение которой для истории едва ли можно переоценить. Для меня сегодня решающий вопрос в том, как вообще и какая политическая система может соответствовать техническому

*Профессор д-р Герхард Риттер ("Карл Гёрделер и немецкое движение Сопротивления"), в то время ординарный профессор новой истории во Фрейбургском ун-те, был арестован 1.11.1944 в связи с делом о покушении на Гитлера 20.7.1944 и освобожден 25.4.1945 союзными войсками. В 1956 г. Риттер получил звание почетного профессора; умер он в 1967 году.

веку. На этот вопрос у меня нет ответа. Я не уверен, что такой системой является демократия.

Шпигель: Но "демократия" — собирагельное понятие, допускающее самые различные представления. Спрашивается, возможна ли дальнейшая трансформация этой политической формы. После 1945 года Вы высказывались о политических устремлениях западного мира и при этом также говорили о демократии, о политическом выражении христианского мировоззрения и о правовом государстве — и называли все эти устремления "половинчатыми".

Хайдеггер: Прежде всего я попрошу Вас сказать, где я говорил о демократии и о прочем, что Вы упомянули. Но половинчатыми я бы их все-таки назвал, поскольку я не вижу в них подлинного понимания мира техники; за ними, как мне кажется, все еще стоит представление, будто техника есть по своей сущности нечто такое, что человек держит в руках. По моему мнению, это невозможно. Техника по своей сущности есть нечто такое, чем человек сам по себе овладеть не может.

Шпигель: Какое из только что упомянутых течений, на ваш взгляд, наиболее соответствует времени?

Хайдеггер: Этого я не знаю. Но я вижу здесь решающий вопрос. Сначала следовало бы разъяснить, что Вы подразумеваете под соответствием времени, что здесь значит время. Больше того, надо было бы еще спросить, можно ли соответствием времени измерить "внутреннюю истину" человеческих действий и не является ли определяющей деятельностью мышление и поэзия (*das Denken und das Dichten*), вопреки всем гонениям на это словосочетание.

Шпигель: Но ведь ясно же, что во все времена человек не справляется со своими орудиями; вспомним об ученике чародея. Так не слишком ли пессимистичным будет говорить, что мы не справимся с этим, пусть намного более громадным орудием, современной техникой?

Хайдеггер: Пессимизм — нет. В деле осмысления, за которое мы здесь попытались взяться, на пессимизме и оптимизме далеко не уедешь. А главное — современная техника вовсе не "орудие" и не имеет уже с орудиями ничего общего.

Шпигель: Почему же техника должна нас так сильно подавлять?

Хайдеггер: Я не говорю подавлять. Я говорю, что у нас еще нет пути, который отвечал бы сущности техники.

Шпигель: Но ведь Вам можно самым наивным образом возразить: чем здесь надо овладевать? Все прекрасно работает. Строится все больше электростанций. Производится много полезных вещей. В высокоразвитой части земного шара человек хорошо обеспечен. Мы живем зажиточной жизнью. Чего здесь, собственно, не хватает?

Хайдеггер: Все работает. Жутко как раз то, что все работает и эта работа ведет к тому, что все еще больше начинает работать и что техника все больше отрывает человека от земли и лишает его корней. Я не знаю, испугались ли Вы, — я, во всяком случае, испугался, когда недавно смотрел фотоснимки Земли, сделанные с Луны. Нам даже не нужно атомной бомбы, искоренение человека налицо. У нас теперь сохранились лишь чисто технические отношения. То, где человек живет теперь, — это уже не Земля. Недавно я имел в Провансе долгую беседу с Рене Шаром, он, как Вы знаете, поэт и боец

Сопротивления. В Провансе теперь строятся ракетные установки, и земля опустошается невообразимым образом. Поэт, которого как раз нельзя заподозрить в сентиментальности и воспеании идиллий, говорил мне, что происходящее сейчас разрушение человеческих корней - просто конец, если только мышление и поэзия не придут к своей ненасильственной власти.

Шпигель: Ну, надо сказать, здесь, конечно, приятнее и в течение нашей жизни нам, надо надеяться, еще не придется переселяться; но кто знает: разве человеку предписано находиться на этой Земле? Можно представить, что для человека вообще нет предписаний. Опять-таки, одну из человеческих возможностей мыслимо видеть и в том, что он с этой Земли переберется на другие планеты. Конечно, дело до этого дойдет не скоро. Где это сказано, что место его только здесь?

Хайдеггер: Исходя из нашего человеческого опыта и истории, насколько я могу судить, я знаю, что все существенное и великое возникало только из того, что у человека была родина и он был укоренен в традиции. Вся теперешняя литература, например, в высшей степени деструктивна.

Шпигель: Слово "деструктивный" нам мешает здесь Вас понять, между прочим, потому, что именно благодаря Вам и в Вашей философии приобрело очень широкий смысл слово "нигилистический". Нам кажется очень странным слышать слово "деструктивный" применительно к литературе, которую Вы могли бы или должны были бы рассматривать как часть этого нигилизма.

Хайдеггер: Я хотел бы заметить, что литература, которую я имею в виду, не нигилистична в моем смысле.

Шпигель: Вы, наверное, видите здесь, как Вы и сами выражались, целое мировое движение (*Weltbewegung*), которое либо ведет к появлению абсолютно технического государства, либо уже привело к нему?

Хайдеггер: Да!

Шпигель: Хорошо. Теперь, естественно, встает вопрос: может ли вообще отдельный человек как-то еще повлиять на это переплетение неизбежностей? Или, опять-таки, может ли философия повлиять, могут ли они вместе что-то сделать — в том смысле, что философия толкнет отдельного человека или многих отдельных людей к определенной деятельности?

Хайдеггер: Если мне будет позволено ответить коротко и, может быть, немного грубо, но на основе долгих размышлений: философия не сможет вызвать никаких непосредственных изменений в теперешнем состоянии мира. Это относится не только к философии, но и ко всем чисто человеческим помыслам и действиям (*Sinnen und Trachten*). Только Бог еще может нас спасти. Нам остается единственная возможность: в мышлении и поэзии подготовить готовность к явлению Бога или же к отсутствию Бога и гибели; к тому, чтобы перед лицом отсутствующего Бога мы погибли.

Шпигель: Есть ли связь между Вашим мышлением и появлением этого Бога? Есть ли здесь, по Вашему мнению, какая-то причинная связь? Полагаете ли Вы, что мы можем призвать Бога мыслью?

Хайдеггер: Мы не можем призвать его мыслью; мы можем, самое большое, пробудить готовность ожидания.

Шпигель: Но можем ли мы что-то сделать?

Хайдеггер: Подготовка готовности (*die Bereitung der Bereitschaft*) могла бы быть первой помощью. Мир не может быть тем, что он есть и

каков он есть, благодаря человеку, но не может и без человека. Это, по-моему, связано с тем, что то, что я обозначаю очень традиционным, многозначным и теперь затаканным словом "бытие" (Sein), требует человека для своего явления, сохранения и формирования. Сущность техники я вижу в том, что я называю "по-ставом", - многократно осмеянный и, возможно, неудачный термин. Господство по-става значит: человек поставлен, захвачен и используется силой, которая проявляется в сущности, техники и которой он сам не владеет. Помочь увидеть это - большего мышления не требует. Философия подошла к концу.

Шпигель: В прежние времена - и не только в прежние времена - постоянно считалось, что философия многое создает косвенно, редко - непосредственно; что она многое может сделать косвенно, что она помогает пробиться новым течениям. Если у одних только немцев можно назвать имена Канта, Гегеля, вплоть до Ницше, не говоря уж о Марксе, то можно показать, что на кружных путях философия страшно много сделала. Так Вы думаете, что наступил конец этой действительности философии? А когда Вы говорите, что старая философия мертва, что ее больше нет, то надо ли заодно считать, что эта действительность философии, если она раньше и была, сегодня, по крайней мере, уже отошла в прошлое?

Хайдеггер: Посредством другого мышления косвенное воздействие „возможно, но только не прямое, не такое, чтобы мышление как бы каузировало изменение состояния мира.

Шпигель: Извините, мы не хотим философствовать, здесь мы некомпетентны, но мы видим тут связь между политикой и философией и потому простите, если мы втягиваем Вас в такой разговор. Вы только что сказали, что философия и отдельный человек не могут ничего сделать, кроме...

Хайдеггер: ...этой подготовки готовности держать себя открытым для прихода или для отсутствия Бога. Даже опыт этого отсутствия тоже ведь есть не ничто, а освобождение человека от того, что я в "Бытии и времени" назвал подпадением сущему (Verfallenheit an das Seiende). К подготовке этой готовности относится осмысление того, что сегодня *есть*.

Шпигель: Но тогда действительно должен прийти еще пресловутый толчок извне - будь то Бог или кто еще. Значит, само по себе своими силами мышление сегодня уже не может быть действенным? Прежде, по мнению современников, а также по нашему общему мнению, такое бывало.

Хайдеггер: Опять-таки не непосредственно.

Шпигель: Мы уже называли Канта, Гегеля и Маркса как великих движителей. Но толчки исходили также и от Лейбница - для развития современной физики и тем самым для возникновения современного мира вообще. Кажется, Вы перед этим сказали, что теперь на такого рода действия уже нельзя больше рассчитывать.

Хайдеггер: В смысле философии — уже нет. Роль прежней философии взяли теперь на себя науки. Для надлежащего прояснения "действенности" мышления надо было бы подробнее уточнить, что здесь можно называть действием и воздействием. Для этого понадобились бы основательные разграничения между "поводом", "толчком", побуждением, подталкиванием, препятствием и содействием, сперва тщательно выяснив положение об основании, Философия распадается на отдельные науки: психологию, логику, политологию.

Шпигель: А что теперь занимает место философии?

Хайдеггер: Кибернетика.

Шпигель: Или тот благочестивый (der Fromme), кто держит себя в открытости?

Хайдеггер: Но это уже больше не философия.

Шпигель: Что же это такое?

Хайдеггер: Я это называю другим мышлением.

Шпигель: Вы называете это другим мышлением. Не смогли бы Вы сформулировать это немного яснее?

Хайдеггер: Задумывались ли Вы над той фразой, которой кончается мой доклад "Вопрос о технике": "вопрошание есть добродетель мысли"?

Шпигель: В Ваших лекциях о Ницше мы нашли фразу, которая нам кое-что проясняет. Вы сказали там: «Поскольку в философском мышлении царит наивысшая мыслимая связь, постольку все великие мыслители мыслят одно и то же. Но это *то же* так существенно и богато, что один мыслитель никогда не сможет его исчерпать, а каждый лишь прочнее связывает другого». Но вот как "раз эта философская постройка и пришла теперь, по-вашему, к известному завершению.

Хайдеггер: Она и завершена, но для нас не превратилась в ничто, а именно в диалоге с нею стала вновь насущной. Вся моя работа по проведению лекций и занятий за последние тридцать лет была в основном лишь интерпретацией западноевропейской философии. Возвращение к историческим основам мышления, продумывание вопросов, которые еще не задавались со времени греческой философии, - это никак не отрешение от традиции. Но я утверждаю: характер мышления традиционной метафизики, которая нашла завершение у Ницше, уже не дает никакой возможности осмыслить силами нашей мысли основные черты пока еще только начинающегося технического века.

Шпигель: Примерно два года назад в беседе с одним буддийским монахом Вы говорили о "совершенно новом методе мышления", сказав, что новый метод мышления "осуществим пока лишь для немногих людей". Хотели ли Вы этим сказать, что только очень немногие люди могут иметь интуиции, которые, по Вашему мнению, возможны и необходимы?

Хайдеггер: "Иметь" в очень полном смысле: так, чтобы уметь их известным образом высказать.

Шпигель: Да, однако переход к работе такого мышления в этом разговоре с буддистом тоже не был Вами явственно изображен.

Хайдеггер: Я и не могу его явственно изобразить, Я не знаю, как "работает" это мышление. Может даже быть, что путь мышления ведет в настоящее время к молчанию, — чтобы предохранить мышление от превращения в старый хлам за какой-нибудь год. Возможно также, что потребуются 300 лет, чтобы оно стало "работать".

Шпигель: Очень понятно. Но поскольку мы не будем жить через 300 лет, а живем здесь и теперь, молчание нам противопоказано. Мы — политики, полуполитики, государственные деятели, журналисты и так далее, — мы должны все время принимать какие-то решения. Мы должны устраиваться в системе, в которой мы живем, должны искать пути ее изменения, должны искать узкую тропу реформ или еще более узкую - революции. Помощи мы ждем от философов, пусть хоть косвенной помощи, помощи на кружных путях, И вот мы слышим от Вас: я не могу Вам помочь.

Хайдеггер: И в самом деле не могу,

Шпигель: Это должно отпугнуть не-философов.

Хайдеггер: Не могу, потому что вопросы настолько трудны, что шло бы вразрез со смыслом этой задачи мышления вдруг публично выступать, проповедовать и раздавать моральные оценки. Я позволю себе высказать следующее положение: тайне планетарной сверхмощи неосмысленной сущности техники отвечает предварительность и ненавязчивость мышления, пытающегося мыслить об этом неосмысленном (Ungedachten).

Шпигель: Вы себя не причисляете к тем, кто мог бы указать путь — при условии, что Вас стали бы слушать?

Хайдеггер: Мне неизвестны никакие пути к непосредственному изменению нынешнего состояния мира, если подобное вообще возможно для человека. Но мне кажется, что мышление, попытка которого была предпринята, могло бы пробудить, высветлить и укрепить ту готовность, о которой шла речь.

Шпигель: Это ясный ответ. Но только может ли и имеет ли право мыслитель сказать: вот подождите, через 300 лет нам, вероятно, что-нибудь придет в голову?

Хайдеггер: Дело не идет о том, чтобы только ждать, пока кому-то что-то придет в голову через 300 лет, а в том, чтобы из едва помысленных важнейших черт нынешнего века попытаться - без притязаний на пророчество - мысленно предвосхитить будущее. Мышление - не бездеятельность, оно само по себе уже действие, состоящее в диалоге с судьбой мира. Мне кажется, что идущее от метафизики различие теории и практики и представление о какой-то системе передач между одной и другой закрывает путь к видению того, что я понимаю под мышлением. Может быть, мне будет позволено сослаться на свои лекции, изданные в 1954 году под заглавием "Что называется мышлением"? Может быть, значение нашего времени в том, что как раз эту книгу из всего напечатанного мной читали меньше всего.

Шпигель: Давайте вернемся опять к началу нашего разговора. Нельзя ли рассматривать национал-социализм, с одной стороны, как осуществление этой "планетарной встречи", а с другой - как последний, наихудший, самый громкий и в то же время самый бессильный протест против этой встречи "планетарно обусловленной техники" и современного человека? Очевидно, что в Вашей личности вынашивается некое противоречие, так что многие побочные продукты Вашей деятельности только и могут быть объяснены, собственно, лишь тем, что различными сторонами Вашего существа, которые не относятся к его философскому ядру, Вы цепляетесь за многие вещи, о которых Вы как философ прекрасно знаете, что они утопичны — скажем, за понятия "родина", "укорененность" и тому подобные. Как это можно совместить: планетарная техника и родина?

Хайдеггер: Я не сказал бы этого. Мне кажется, что Вы понимаете технику все-таки слишком абсолютно. Я вижу положение человека в мире планетарной техники не как запутанную и неизбежную трагедию; мне кажется, что задача мышления как раз в том, чтобы помочь человеку в границах его возможностей достичь надлежащего отношения к сущности техники. Верно, национал-социализм шел в этом направлении, но эти люди были слишком непритязательными мыслителями, чтобы выработать действительно ясное отношение к тому, что происходит сегодня и что надвигалось на нас уже в течение трех столетий.

Шпигель: Это ясное отношение - может быть, оно есть теперь у американцев?

Хайдеггер: У них его тоже нет; они все еще увязают в таком мышлении, которое, хотя и выдвигает в качестве прагматизма на первое место техническое оперирование и манипулирование, в то же время закрывает дорогу к осмыслению сути современной техники. Между тем то там то здесь в США предпринимаются попытки освободиться от прагматистски-позитивистского мышления. И кто из нас решится предсказать, не пробудятся ли в один прекрасный день в России или в Китае прадревние традиции такого "мышления", которое позволит человеку достичь свободного отношения к миру техники?

Шпигель: Если ни у кого этого нет и если философ не может этого дать людям...

Хайдеггер: Как далеко я ушел в своем опыте мысли, каким образом этот опыт может быть в будущем воспринят, сколь плодотворно преобразован - не мне судить. В последний раз в 1957 году, в юбилейном докладе по случаю годовщины Фрейбургского университета, озаглавленном "Закон тождества", я решился посредством нескольких мыслительных шагов показать, почему для мышления, ощутившего, в чем покоится суть современной техники, открывается возможность того, что человек технического спекта вступит в отношении к такому требованию, которое он не просто способен услышать, но, которому он, наоборот, сам всегда был послушен (*den Bezug zu einem Anspruch erfährt, den er nicht nur zu hören vermag, in den er vielmehr selbst gehört*). Мое мышление находится в неразрывной связи с поэзией Гёльдерлина. Я считаю Гёльдерлина не просто одним из поэтов, творчество которого наряду с творчеством многих других изучается историками литературы. Для меня Гёльдерлин - поэт, который указывает в будущее, который ожидает Бога и который поэтому достоин того, чтобы не остаться всего лишь предметом историко-литературных изысканий.

Шпигель: Кстати о Гёльдерлине - просим извинить нас, если мы зачитаем еще одну цитату. В Ваших лекциях о Ницше Вы сказали, что "по-разному ощущавшееся противоборство дионисийского и аполлинического, священной страсти и трезвого изображения есть скрытый стилевой закон исторического призвания немцев, и когда-то этот закон должен найти нас готовыми и пригодными для его выражения. Эта противоположность - не просто формула, с помощью которой мы можем описывать "культуру". Гёльдерлин и Ницше, явившие это противоборство, поставили знак вопроса перед задачей немцев обрести свое историческое существо. Поймем ли мы этот знак? Одно несомненно: история нам отомстит, если мы его не поймем". Мы не знаем, в каком году Вы это написали, нам представляется, что это был 1935 год.

Хайдеггер: Вероятно, эта цитата взята из лекции о Ницше, озаглавленной "Воля к власти как искусство", 1936/37 годов. Но это могло быть сказано и в последующие годы.

Шпигель: Да, так Вы могли бы немного разъяснить это? Здесь мы переходим с путей всеобщности к конкретному предназначению немцев.

Хайдеггер: Сказанное в этой цитате я мог бы выразить еще таким образом. Я думаю, что только в той части мира, где возникла современная техническая цивилизация, может быть подготовлен поворот и что он не

может произойти путем принятия зен-буддизма или каких-либо других восточных способов понимания мира. Для переосмысления потребуется помощь европейской традиции и ее новое усвоение. Мышление может преобразиться лишь с помощью мышления, имеющего тот же ИСТОЧНИК и то же призвание.

Шпигель: Вы полагаете, что именно в том самом месте, где техническая цивилизация возникла, она должна...

Хайдеггер: ... быть снятой в гегелевском смысле, — не устраненной, а именно снятой, но не только человеком.

Шпигель: И Вы приписываете здесь немцам особую задачу?

Хайдеггер: Да, в этом смысле, в диалоге с Гёльдерлином.

Шпигель: Считаете ли Вы, что немцы специально приспособлены для осуществления такого поворота?

Хайдеггер: Я думаю при этом об особом внутреннем родстве немецкого языка с языком и мышлением греков. Сегодня мне то же постоянно подтверждают французы. Когда они начинают мыслить, то говорят по-немецки; они уверяют, что со своим языком не могут далеко продвинуться.

Шпигель: Объясняете ли Вы именно этим Ваше столь сильное влияние в романских странах, в частности у французов?

Хайдеггер: Потому что они видят, что со всей своей рациональностью они уже не успевают за сегодняшним миром, когда речь заходит о том, чтобы понять источники его существа. Мышление столь же мало поддается переводу, как и поэзия. Конечно, его можно передать описательно. Но как только пытаются дать буквальный перевод, все изменяется.

Шпигель: Неуютная мысль.

Хайдеггер: Было бы хорошо, если бы к этой неуютности отнеслись с большей мерой серьезности и осознали, наконец, какие тяжелые последствия имело изменение греческого мышления при его переводе на римско-латинский язык — событие, которое до сих пор мешает нам надлежащим образом осмыслить основные термины греческого мышления.

Шпигель: Господин профессор, мы все же всегда хотели бы исходить из оптимистической точки зрения, что нечто может быть сообщено и переведено, потому что если мы откажемся от этого оптимизма — то есть что содержание мышления может быть сообщено через языковые преграды — нам грозит провинциализм.

Хайдеггер: Сможете ли Вы назвать греческое мышление "провинциальным" в отличие от способа представлений, господствовавшего в Римской империи? Деловые письма могут быть переведены на все языки. Науки — то есть, опять-таки, для нас теперь уже естественные науки, с математической физикой в качестве основы — могут быть переведены на все мировые языки; вернее, их не переводят, а просто говорят сразу на одном и том же математическом языке. Здесь мы затрагиваем обширную и с трудом поддающуюся оценке сферу.

Шпигель: К нашей теме, может быть, имеют отношение еще и вот какие соображения. В данный момент у нас происходит — без преувеличения — кризис демократически-парламентской системы. Мы имеем этот кризис уже давно. В особенности он проявляется в Германии, но не только в Германии. Мы наблюдаем его и в таких классических странах демократии, как Англия и Америка. Во Франции так даже и вообще уже больше нет никако-

го кризиса. Вот вопрос: можем ли мы получить от мыслителей — хотя бы в виде производимого ими "побочного продукта" — указания на то, что либо эту систему нужно заменить новой, и тогда как она должна будет выглядеть, — либо же возможна какая-то реформа, и тогда каким образом эту реформу можно было бы осуществить. Иначе мы, далеко не уйдем и получим, что необразованный в философском отношении человек — а таким обычно бывает и тот, кто руководит событиями (хотя и не определяет их), и тот, кто находится во власти событий, — что этот человек будет принимать неверные решения, даже, может быть, допускать ужасные промахи. Итак, не следует ли философу быть готовым к тому, чтобы подумать, каким образом люди могли бы устроить свои взаимоотношения в этом мире, который они сами технизировали, но который, может быть, действительно подчинил их своей власти? Не вправе ли они ждать от философа указаний на то, как он представляет возможность дальнейшей жизни, и не окажется ли философ в какой-то степени профессионально несостоятельным — пусть даже в очень малой степени, — если ничего по этому поводу не сможет сказать?

Хайдеггер: Насколько я могу судить, отдельный человек не в состоянии обозреть своей мыслью весь мир в целом так, чтобы это позволяло ему давать практические указания, тем более если перед ним стоит еще задача заново найти основу для самого мышления. Пока мышление с достаточной серьезностью относится к самому себе перед лицом великой традиции, подгонять его на то, чтобы оно вырабатывало какие-то практические указания — значит требовать от него непосильного. Да и как оно могло бы это сделать? В области мышления не существует авторитетных высказываний. Единственную меру для мышления задаст сам предмет мышления. Но этот предмет есть как раз нечто наиболее спорное. Чтобы уяснить существующее положение вещей, требуется прежде всего рассмотреть соотношение между философией и науками, технические и практические успехи которых делают философское мышление в наше время, по-видимому, все более и более излишним. Тяжелому положению, в котором оно оказалось даже в отношении своих собственных задач, соответствует отрицательное отношение — оно находит питательную почву как раз в той господствующей позиции, которую заняли теперь науки, — к мышлению, которое вынуждено отказать в ответе на выдвигаемые злобой дня практически-мировоззренческие вопросы.

Шпигель: Господин профессор, в сфере мышления не существует авторитетных высказываний. Тогда нет ничего поразительного и в том, что современное искусство тоже затрудняется делать авторитетные высказывания. Тем не менее Вы назвали его "деструктивным". Современное искусство часто рассматривает себя как экспериментальное искусство. Ваши работы тоже являются попытками...

Хайдеггер: Я охотно принимаю поучения.

Шпигель: ... попытками, исходящими из ситуации разобщенности человека и художника, а из 100 попыток всегда можно то там, то здесь обнаружить удачную.

Хайдеггер: Вот в чем большой вопрос: где сегодня искусство? Каково его место?

Шпигель: Хорошо, но Вы требуете тут от искусства такого, чего от мышления уже не требуете.

Хайдеггер: Я ничего не требую от искусства. Я говорю только: вопрос в том, какое место занимает искусство.

Шпигель: Если искусство не знает своего места, то оно уже поэтому деструктивно?

Хайдеггер: Хорошо, вычеркните это. Но я хотел бы заявить, что никак не вижу у современного искусства путеводной нити. Главное остается неясным, в чем оно само видит или хотя бы в чем ищет собственную суть.

Шпигель: Для художника тоже не существует обязательность традиции. Он может найти что-то красивым и в таком случае сказать: да, так можно было писать картины 600 лет тому назад, или 300 лет тому назад, или 30 лет. Но сейчас он уже так не может. Даже если бы он захотел, он уже не смог бы так сделать. Иначе самым великим художником окажется гениальный фальсификатор Ханс фон Меегерен, потому что он сможет писать "лучше", чем другие. Но это теперь не пойдет. Значит, и художники, и писатели, и поэты находятся в той же ситуации, что и мыслители. Как часто нам приходится говорить: закрой глаза (*Wie oft müssen wir doch sagen: mach die Augen zu*).

Хайдеггер: Если в качестве рамок для выяснения места искусства, поэзии и философии взять "культурное производство", то тогда они окажутся равноправными. Но когда ставится под вопрос не только это производство, но и то, что называется "культурой", то осмысление этих стоящих под вопросом вещей попадет в сферу задач мышления, бедственное положение которого трудно представить. Самая же большая беда мышления заключается в том, что сегодня, насколько я могу видеть, мы еще не слышим мыслителя, который был бы достаточно "велик", чтобы непосредственным и отчетливым образом повернуть мышление к его собственному делу и тем самым вывести его на дорогу. Для нас, сегодняшних, величие дела мышления слишком велико (*Für uns Heutige ist das Grosse des zu Denkenden zu Gross*). Может быть, мы способны трудиться над проторением узких и недалеко ведущих троп перевала.

Шпигель: Господин профессор Хайдеггер, мы благодарим Вас за эту беседу.